
Владимир Кожедеев
Сказки и хроники
Ивана-дурака

Владимир Кожедеев

Сказки и хроники Ивана-дурака

«Автор»
2026

Кожедеев В.

Сказки и хроники Ивана-дурака / В. Кожедеев — «Автор», 2026

В мире, где ум ценится выше сердца, а выгода — выше чуда, жил-был Иван-дурак. Но дурость его была особой: он слышал голос мира — стон корней, песню ветра, правду, скрытую за ложью. Его путь, начавшийся с простой помощи жуку, превратился в эпическое странствие по спасению самой сути человеческого бытия: он вернул людям радость, разбудил память заговорившей воды, примирил враждующие правды Камня споров и исцелил царство от удушающей серьезности.Но сказка на нем не закончилась. Его тихий дар, как драгоценное семя, был передан Аленушке - девочке, которая слышала шепот камней и стала хранителем Болота воспоминаний. Она научила мир не бояться прошлого и смело сеять зерна безумных идей для будущего.Ее преемником стал Прохор, немой Настройщик, слышавший дисгармонию в самом шуме городов. Он не говорил, но его руками мир возвращался к ладу, а его тишина стала мостом между грубым настоящим и хрупкой гармонией.

© Кожедеев В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть 1 5
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Владимир Кожедеев
Сказки и хроники Ивана-дурака

Часть 1

Сказки

Глава 1.
Иван-дурак и мудрость сердца.

Жили-были в одной деревне три брата. Старшие, Данила да Гаврила, были парни хоть куда: один плотничал так, что любо-дорого, другой в торговле счеты знал. А младший, Иван, целыми днями на печи лежал да в потолок плевал, а если и выходил, то зверям лесным да птицам небесным разговаривать помогал. Звали его все Иваном-дураком.

Как-то раз напала на царство беда-неслыханная: стала у людей радость пропадать. Не горе, не болезнь, а именно радость. Песни замолкли, смех утих, цветы не пахли, а еда вкуса лишилась. Затужил царь, созвал народ: «Кто беду эту отведет, тому полцарства и дочь в жены!»

Собрались Данила да Гаврила. Думали: «Дело ясное. Коли радость пропала, значит, ее кто-то украл. Знать, Кощей Бессмертный или Ворон Воронович постарался». Снарядились они с оружием да с хитрыми приспособами и в путь-дорогу пустились.

А Иван с печи слез, каравай черствый в котомку положил, да и пошел за ними – не ради награды, а просто посмотреть, куда братья пойдут, помочь, если что. Дразнили его братья, но прогнать не посмели – путь-то нехоженый.

Шли день, шли два. Встретили на пути камень с надписью: «Налево пойдешь – коня потеряешь. Направо пойдешь – голову сложишь. Прямо пойдешь – сам себя найдешь». Данила с Гаврилой в раздумье встали, совет держать стали. А Иван, не думая, прямо и пошел. Братья, плечами пожав, разошлись кто налево, кто направо.

Идет Иван лесом, видит – заяц в силок попал, бьется. Освободил его Иван. «Спасибо, – говорит заяц. – Пригожусь». Дальше идет – филин с перебитым крылом на земле сидит. Перевязал Иван крыло мхом да тряпицей. «Благодарю, – промолвил филин. – Пригожусь». У реки видит – щука на берег выбросилась, задыхается. Отнес ее Иван обратно в воду. «Спасибо, Иван, – булькнула щука. – Пригожусь».

Пришел Иван на поляну, а там избушка на курьих ножках стоит. Не испугался Иван, сказал, как учили: «Избушка, избушка, стань ко мне передом, к лесу задом!» Повернулась избушка. А в ней Баба-Яга костяной ногой стучит, в ступе помелом погоняет.

«Фу-фу! Русским духом пахнет! Чего, добрый молодец, приплелся? Дело пытаешь или от дела лытаешь?»

«Ищу, бабушка, куда радость людская подевалась. Тоска царство одолела».

Удивилась Баба-Яга, что не испугался ее Иван, да и говорит правду без хитрости. «Знаю я, – говорит. – Унес радость людскую старый Ворон Воронович в свое гнездо на Стеклянную Гору спрятал, в ларце железном запер. Хранит он ее, будто золото, а сам радоваться не умеет, вот и другим не дает. Путь туда непростой. Три стража сторожат: Скука Седая, что сном одолевает, Злоба Колючая, что ядом сердца отравляет, и Равнодушие Ледяное, что душу в камень обращает».

«Как же мне миновать их?» – спросил Иван.

«Ума-разума у тебя, я вижу, не много, – хмыкнула Яга. – Зато сердце простое да чистое. Слушай его. А вот тебе клубочек, он к Горе приведет».

Покатился клубочек, а Иван за ним. Привел он его к болоту серому. Сидит на кочке старуха Скука Седая, зевоту наводит. Только взглянул на нее Иван, как глаза слипаться стали, ноги ватные. Вспомнил он тогда про зайца. Выскочил заяц из-за куста, да как запрыгает вокруг Скуки, как затанцует! Рассмеялась Скука нелепому танцу, и сила ее покинула. Прошел Иван.

Дальше – поле терновое. Стоит там Злоба Колючая, шипами острыми потряхивает. Злые мысли в голову лезут, все вокруг врагами кажутся. Захотелось Ивану и братьев обидеть, и царя обругать. Но вспомнил он про филина. Прилетел филин, сел на плечо и мудрым голосом прошептал: «Дыши, Иван. Зло рождает зло. Ты же добро несешь». Утихла в сердце буря, засохли колючки. Прошел Иван.

Вот и Стеклянная Гора, блестит, слепит, холодом веет. А на подходе к ней – стена изо льда, и в ней тень Равнодушия Ледяного. От одного взгляда на нее душа немеет, ничего не хочется. Ни помочь, ни пожалеть. Вспомнил Иван про щуку. Выпрыгнула щука из сугроба, хвостом бьет по льду и наказывает: «Иван, вспомни, зачем ты идешь! Вспомни отца с матерью, как они песни пели! Вспомни смех ребятишек деревенских!» И полились из сердца Ивана теплые воспоминания. Затрещал лед, растаяла стена.

Взобрался Иван на гору. Сидит в гнезде Ворон Воронович, а у него под крылом ларец железный. Бросился Ворон на Ивана, когтями, клювом. Но что может сделать зло против чистого сердца, что идет не ради себя? Не стал Иван с Вороном биться, а сел рядом, грустно так: «Жаль тебя, Ворон Воронович. Богатство у тебя величайшее, а ты сам им пользоваться не можешь и другим не даешь. Хочешь, я тебе песню спою?»

Удивился Ворон, притих. А Иван запел – про солнце, про дождь, про первую травку. Голос у Ивана был не ахти, но от сердца шел. И заплакал старый Ворон слезами черными. «Забирай, – прохрипел он. – Не мне это хранить».

Взял Иван ларец, открыл его. Вырвался оттуда свет теплый, разноцветный, и полетел обратно в царство – в виде птиц, мотыльков, лучей.

А тут и братья подошли, помятые, уставшие. Коня Данила, как и было написано, потерял, а Гаврила едва от злодеев голову унес. Увидели они Ивана с ларцем и обомлели.

Вернулись в столицу. А там уже праздник: цветы пахнут, люди смеются, песни звучат. Отдал царь Ивану полцарства и дочь-красавицу. А Иван говорит: «Мне, батюшка-царь, царство не надобно. Пусть братья правят, они дело разумеют. А я буду около – птиц лечить, детям сказки сказывать да радость сторожить. А дочь твоя, коли захочет, пусть за простого дурака идет».

Дочь-царевна, которая за все это время впервые искренне улыбнулась, посмотрела на Ивана и кивнула. Потому что поняла она, что самая великая мудрость – это не в голове, а в сердце, и что настоящий дурак – это тот, кто разучился радоваться и другим радость дарить.

И стали они жить-поживать, а Иван так и остался для всех Иваном-дураком, но теперь это прозвище звучало как самая добрая и почетная похвала.

Глава 2.

Иван-дурак и Тихая Вода.

Прожили Иван с царевной Марьей год да другой в добром согласии. Жили не во дворце, а на лесной опушке, в крепкой избе, что Иван сам срубил. Марья полюбила простую жизнь: печь стряпать, травы целебные собирать. А Иван, как и прежде, со всякой животиной разговаривал, да еще и мастерству у старших братьев понемногу учился – не из нужды, а из любопытства. Царство же процветало под рукой Данилы да Гаврилы, хоть и управляли они строго, по уму, как и полагается умным людям.

Но однажды случилась новая напасть, тихая и странная. Перестала вода слышать. Нет, реки текли, дожди лились, но вода утратила свой голос. Она больше не журчала весело по камням, не шепталась с камышами, не булькала родником из-под земли. Наступила в мире странная, гнетущая тишина. Без шепота ручья пропали и лучшие мысли у мастеров, без плеска волны забывали рыбаки свои песни, а без грозового рокота сердце не знало, как сбросить тяжесть. Даже слезы у людей текли молча, и от этого горе казалось еще горше.

Снова затужил царь, и снова пошли братья искать причину. Данила решил: «Это чары водяного, надо сети сплести хитрые, да глушину его замутить!» Гаврила рассудил: «Это торговые конкуренты из-за моря воду волшебную заворожили, надо товар их перехватить!»

А Иван сидел на берегу молчаливой реки, опустив руку в воду, и слушал тишину. И не слышал он ничего ушами, но сердцем почувствовал – не зло тут, а боль. «Ты чего приуныла, матушка-водица?» – спросил он шепотом.

И тут из-под коряги вынырнула знакомая щука. «Иван, помоги! – прошептала она еле слышно. – Не наша это воля молчать. Это Тень Забвения на дно мировое опустилась. Она из той же породы, что Скука да Равнодушие, но хитрее. Она не отнимает радость, а стирает память. Вода помнит всё: и старые былины, и детский смех, и клятвы влюбленных, и шелест крыльев первых птиц. А Тень эту память пожирает, и от этого вода глохнет. Скоро она доберется до памяти родниковой – памяти самого начала, и тогда вода станет просто мокротой, мертвой и пустой».

«Где искать эту Тень?» – спросил Иван.

«Там, где текут все воды мира в одну точку, – на Дне Зеркальном, под Омутом Вечным. Но путь туда – через иллюзии. Тень будет показывать тебе картины из твоей же памяти, такие сладкие, что захочется остаться в них навсегда и забыть, зачем ты пришел».

Взял Иван свой простой посох, попрощался с Марьей и пошел к Омуту Вечному, что на краю света был. Пришел он к водовороту страшному, что в бездну воронкой уходил. Сделал глубокий вдох и нырнул.

И не было там ни воды, ни темноты. Оказался Иван в самой светлой и дорогой памяти: он маленький, сидит на печи, мама пряники печет, отец с братьями с поля возвращаются, смеются. Так тепло и хорошо, так хочется остаться тут, где тебя любят просто так, за то, что ты есть… «Забудь про долги, Иван, – шептал сладкий голос. – Останься здесь. Ты же дурак, тебе ли со всеми бедами справляться?»

И чуть было не остался Иван. Но тут вспомнил он тишину реки и лицо Марьи, которая ждет его не в прошлом, а в настоящем. И еще вспомнил он слова филина: «Память – это не чтобы в ней жить, а чтобы из нее силу для сегодняшнего дня брать». Отвернулся Иван от пряничного дома и шагнул дальше.

Показала ему Тень другую картину: он уже не дурак, а мудрый правитель, сидит на троне, все его почитают, братья ему в ноги кланяются. Лесть текла рекой. «Вот твое место, Иван! Забудь про дурацкие подвиги, будь великим!»

Но Иван усмехнулся: «Да какой из меня правитель? Я и законы-то читать не очень обучен. И на троне спину заболеть. Нет, не мое это». И шагнул дальше, сквозь тщеславный мираж.

Тогда разверзлась перед ним самая страшная картина: темная, пустая изба. Марьи в ней нет. Никого нет. И голос шепчет: «Зачем ты идешь? Тебя все равно забудут. Ты – дурак. Твой путь бессмыслен. Забудь и ты. Забудь всё».

И охватил Ивана леденящий ужас одиночества и пустоты. Сердце его сжалось, готовое остановиться. В этот миг он почти забыл, кто он и зачем здесь. Но вдруг – тихий звук. Не ушами, а внутри. Это была память самой воды. Не его память, а всеобщая. Звук первой капли, упавшей на камень. Плеск рыбы в праокеане. Смех ребенка, впервые поплескавшегося в луже. Шепот влюбленных у ручья. Этот хор памяти, тихий, как эхо, наполнил его. Он вспомнил не себя, а связь свою со всем миром.

«Я не один, – сказал Иван вслух. – Пока течет вода и помнит – я не один. А чтобы помнила – я должен ей помочь».

Исчезли иллюзии. Оказался Иван на Дне Зеркальном. И было оно не из песка, а из осколков застывших воспоминаний. А в центре клубилась сама Тень Забвения – бесформенная и жадная. Она не нападала, она просто тянулась к нему, предлагая сладкое небытие.

Не стал Иван с ней биться мечом, которого у него и не было. Он сел, достал из котомки свою дудочку-жалейку, старую, корявую. И заиграл. Заиграл ту самую простую песню, которую пел Ворону. Но теперь в эту мелодию вплелись все услышанные им голоса памяти воды: капель, волн, родников.

Тень задрожала. Ей нечем было ответить на эту простую, живую музыку бытия. Она питалась забвением, а Иван нес в себе память, оживленную любовью. От звуков, полных смысла и чувства, Тень стала таять, как черный иней на солнце, пока не исчезла вовсе.

И в тот же миг на всей земле вода заговорила. Зажурчали ручьи, зарокотали волны, забарабанил по крыше веселый дождь, и люди, заслышав родной голос мироздания, облегченно вздохнули и улыбнулись. А самые чуткие услышали в этом шуме старую-добрую сказку.

Вынырнул Иван из омута на берег, отряхнулся. Встретили его братья, смущенные: их хитроумные планы так и не сработали. Смотрели они на младшего брата, мокрого, простого, и поняли наконец, что его дурость – это не отсутствие ума, а присутствие чего-то большего. Не разума, что делит и измеряет, а сознания, что чувствует связь всего со всем.

А Иван пошел домой, к своей избе на опушке, где его ждала Марья и кипящий самовар, весело посвистывающий, как самый маленький и добрый ручеек. И жизнь потекла дальше – не сказка с концом, а как полноводная река: шумная, живая, помнящая и несущая в своих водах отголоски всех историй, даже этой.

Глава 3.

Как у Ивана ум выходил, а сердце оставалось.

Жил-был в деревне обычный мальчик Ваня. Родился он третьим, поздним сыном у уже немолодых родителей. Братья, Данилка да Гаврилка, были здоровыми, шустрыми парнями, а Ваня появился на свет тихим, немного хилым, и глаза у него были странные – большие, серые, внимательные, будто не на людей смотрел, а сквозь них, на что-то иное.

Рос он не по дням, а по часам, но не в силе, а в странностях. Пока братья бегали, дрались, учились у отца плотничать, Ваня мог часами сидеть на завалинке и смотреть, как муравьи ношу тащат, как тень от тучи по полю бежит, как дождь в лужах круги пускает. Говорить начал поздно, да и говорил мало, зато слушал внимательно – и речь людей, и ветра завывание, и бормотание старого кота.

«Не от мира сего наш Ванька, – вздыхала мать. – Умом, видно, не вышел».

«Дурачок,– отмахивался отец, но без злобы. – Ну, Бог с ним. Авось, на печи хоть дрова экономить будет – греться не захочет».

И прозвище прилипло – Иван-дурак. Но дурость его была особой. Он не был сумасшедшим или беспомощным. Он просто жил по другим правилам. Если ему говорили: «Иди за водой, да смотри, не пролей», он шел, но по дороге мог встретить сломанного жука, остановиться, полдня чинить ему лапку из травинок, а про воду забыть. Не от лени, а потому что для него жук в эту минуту был важнее ведра.

А главная перемена случилась с ним, когда ему было лет десять. Пошел он как-то в лес по грибы, да заблудился не по-детски. Три дня его искали, уже отчаялись. А на четвертый день

он вышел из чащи сам – босой, оборванный, но со странным светом в тех самых серых глазах. В руках он нес не полную корзину грибов, а горсть лесных ягод да перо филина.

Рассказал он потом, что на второй день забрел на самую глухую поляну, где стоял пень, обросший мхом, а на нем сидела Старица Лесная – не Баба-Яга с костяной ногой, а что-то древнее, тихое, самоё суть леса. Не страшная, но безмерно старая и грустная.

«Чего ищешь, дитя человеческое?» – спросила она голосом, похожим на шелест листьев.

«Дорогу домой, бабушка. И… ум. Все говорят, я дурак. Мне бы ума», – честно сказал Ваня.

Старица долго смотрела на него. Потом протянула руку, костлявую, как корень, и легонько тронула его пальцем в лоб, а потом – в грудь, где сердце.

«Ума тебе дать– все равно что ручью велеть течь не по руслу. Сломаешь и ручей, и берега. У тебя путь иной. Тот ум, что миру сему нужен, – он как острый топор: рубит, делит, измеряет. Он говорит: "Это – мое, то – твое. Это – полезно, то – нет". Твой же разум, дитя, – он как корни дуба: чувствует связь всего под землей. Он не делит, а соединяет. За это люди зовут тебя дураком. Хочешь, я заберу у тебя этот дар соединения и дам тебе обычный, острый ум? Станешь как все. Будешь понимать выгоду и расчет. Забудешь язык зверей и шепот трав».

Иван-мальчик подумал. Он вспомнил, как утром белка с рук у него орех взяла, и как от этого на душе стало тепло и хорошо. Вспомнил, как понимал, о чем плачет заблудившаяся овца, и помог ей. Он посмотрел на свои ладони, на это филина перо.

«Нет, бабушка. Не забирай. Пусть я буду дураком».

Старица кивнула, и в ее глазах, глубоких как лесные озера, мелькнуло подобие улыбки.

«Тогда запомни раз и навсегда, Иван-дурак: твоя сила – в том, что ты слышишь мир. Не только слова, а боль, радость, тоску. Ты будешь чувствовать ложь, как сквозняк, а истину – как солнечное тепло. Твоя дурость будет раздражать умных, потому что ты будешь видеть суть, минуя их хитрые доводы. Но однажды мир, уставший от ума, который только делит и считает, позовет именно тебя. И когда позовут – иди. Не ради наград, а потому что услышишь зов. А теперь иди домой. За тобой волк серый придет, он тебя выведет».

И правда, из чащи вышел огромный седой волк, спокойно лег у его ног и повел к околице. С тех пор Иван и вправду стал слышать больше и яснее. Он мог сказать сестре: «Не ходи за водой к колодцу, проси у соседей – там ужо змея забралась», и это оказывалось правдой. Мог принести хромой собаке какую-то траву, и та начинала ходить.

Братья взрослели, умнели в житейском смысле, а Иван как лежал на печи, так и лежал. Но теперь он лежал не просто так – он слушал. Слушал, как дом поскрипывает, как мыши под полом совещаются, как в самом кирпиче печном живет память об огне. Он накапливал тихую, нерасторопную мудрость соединения, которую все вокруг по-прежнему звали дуростью.

Он стал тем самым Иваном-дураком – сосудом не для знаний из книг, а для простой и страшной силы: чувствовать мир цельным, живым и говорящим. И ждал своего часа, даже сам о том не догадываясь. А час тот должен был пробить, когда умный мир в очередной раз запутается в собственных хитросплетениях и забудет, что самое важное нельзя ни разделить, ни подсчитать.

Глава 4.

Иван-дурак и Камень Споров.

Шли годы. Иван, как и обещал, не стал править, а жил с Марьей на опушке. Но слава о его «дурацкой» мудрости разошлась по всему царству-государству. И стали к нему приходить люди – не за царскими указами, а за советом, который умным в голову не приходил.

Придет, бывало, купец, лыком шитый: «Иван, подскажи! Два корабля с товаром плывут. Один быстрее придет, но товар похуже. Другой – позже, но товар отменный. Какой выбрать?» Иван, глядя в печь, отвечает: «А ты спроси у ветра, какой корабль ему милее дуть в паруса. Да у волн спроси, какую покрепче носить». Уходит купец, недоумевая, а потом выясняется, что «быстрый» корабль в шторме разбился, а «медленный» пришел вовремя, да еще с попутным ветром, и купец состояние сколотил.

Но не все советы были так просты. И не всем нравилась эта дурацкая правда.

Как-то раз пришли к избе Ивана послы от братьев, Данилы и Гаврилы. Лица у них были озабоченные, хмурые. Оказалось, в самом сердце царства, на главной площади, вырос камень. Не с неба упал, а именно вырос из-под земли за одну ночь. И был он не простой: гладкий, темный, отполированный, как зеркало, и размером с избу. Но самое странное было не это. Любой, кто подходил к нему и заводил спор с другим человеком, моментально видел на поверхности камня не свое отражение, а усиленную правду своего оппонента.

Ссорятся два соседа из-за межи. Один кричит: «Ты мой участок захватил!» Другой парирует: «Это ты залез!» Смотрят на камень – и видят: первый сосед, захвативший землю, видит на камне не себя, а второго соседа – но такого жалкого, голодного, с больными детьми, отчаянно борющегося за каждый клочок, чтобы семью прокормить. А второй сосед видит первого – усталого, сгорбленного, много лет в одиночку тянущего на себе хозяйство после смерти жены, мечтающего хоть о какой-то справедливости. И оба, увидев чужую правду, как она есть, без прикрас, замолкали. Не потому что решали спор, а потому что злость таяла, уступая место сложному, неудобному пониманию.

Сначала люди дивились. Потом – возненавидели этот камень. Он не давал спорить! Он не позволял быть уверенным в своей правоте! Он лишал священного права на гнев и обиду. Купцы не могли торговаться – видя бедность покупателя, стыдились заламывать цену. Судьи не могли судить – видя отчаяние преступника, понимали корень его поступка. Даже братья-цари, Данила и Гаврила, попытались на совете решить спор о налогах, посмотрели на камень – и увидели не доводы друг друга, а искреннюю, выстраданную заботу каждого о царстве, смешанную с глухим страхом ошибиться. Они вышли с совета бледные и растерянные.

Царство, привыкшее жить по правилам «правда у каждого своя» и «победитель всегда прав», стало буксовать. Все дела замерли. Люди ходили вокруг камня, боялись подойти, шептались. Назревал бунт против этого «дьявольского зеркала».

«Надо его разбить! – кричали самые горячие головы. – Он смуту сеет!»

«Нет,надо изучить! – возражали другие. – Это может быть оружие!»

«Это наказание за наши грехи!»– стонали третьи.

Братья, как умные правители, поняли: камень этот ломает самую основу их власти, которая зиждется на суде, законе и ясном разделении на правых и виноватых. Они послали за Иваном.

Иван пришел на площадь, пробираясь сквозь толпу. Подошел к черному зеркалу. Все замерли. Что увидит Дурак?

Иван посмотрел на камень. И увидел… себя. Но не того, что стоит здесь, а множество отражений: вот он – мальчик, слушающий муравья; вот он – юноша, разговаривающий с волком; вот он плачет над сломанным крылом птицы; вот он смеется с Марьей; вот он молча слушает тишину реки. И все эти отражения сливались в одно – в простого человека, который просто… видит и слышит. Ничего более.

Он обернулся к толпе и своим тихим, но слышным всем голосом сказал:

«Не камень это. Не зеркало. Это – Совесть Земли проросла. Долго спала она под нашими дорогами да домами. А теперь проснулась. Не чтобы судить. Чтобы напомнить».

«Напомнить о чем?! – выкрикнул кто-то из толпы. – О том, что все мы грешники? Так мы и так знаем!»

«Нет,– покачал головой Иван. – Напомнить о том, что за каждым «я прав» стоит целая жизнь. Что другой человек – не враг в споре, а история, идущая навстречу. Камень не решает, кто прав. Он просто не дает забыть, что у другого тоже есть своя правда. Больная, неудобная, но настоящая».

Наступила гробовая тишина.

«И что же теперь делать?– устало спросил Данила-царь. – Так жить нельзя. Все дела встали».

«А кто сказал, что жить по-старому – это и есть жизнь? – спросил Иван. – Камень не вечен. Он вырос, чтобы вас растормошить. Он уйдет, когда научитесь видеть друг друга без него».

И тут Иван сделал то, чего никто не ожидал. Он не стал ни ломать камень, ни заклинать его. Он подошел к группе самых ярых его противников – купцу, судье и солдату, которые требовали немедленно разбить «наваждение».

«Подойдите, – сказал он. – Вместе. И затейте спор. Самый яростный».

Нехотя, сжимая кулаки, они подошли. Купец начал кричать на судью за несправедливый приговор, солдат – на купца за жадность. Они завели спор, горячий, гневный… и взглянули на камень.

И увидели. Купец увидел судью не как взяточника, а как запутавшегося человека, который ночами не спит, пытаясь по букве закона, которого не понимает, решить человеческие судьбы. Судья увидел в купце не алчного скрягу, а бывшего крестьянина, который боится одной неудачи, чтобы снова скатиться в нищету. Солдат увидел в них обоих не «жирных горожан», а таких же, как он, людей, закованных в свои доспехи – судейской мантии, купеческого кафтана.

Их крики затихли. Они не помирились. Не обнялись. Они просто стояли и молчали, переваривая неудобную, огромную правду о другом.

В этот миг камень… зацвел. По его черной гладкой поверхности побежали тонкие, светящиеся жилки, как корни, и расцвели призрачными, полупрозрачными цветами неземной красоты. А потом стал медленно-медленно опускаться в землю, из которой вырос, пока на площади не осталась лишь гладкая, утоптанная земля, да несколько настоящих, простых ромашек, проросших на том самом месте.

Камень ушел. Но что-то изменилось. Спорить люди не перестали. Судить – тоже. Но теперь, затевая спор, самые мудрые из них стали на мгновение вспоминать то черное зеркало. И добавляли в свою правду вопрос: «А что видит он?»

Братья-цари, глядя на пустое место, поняли, что самое сложное правление только начинается. Правление, где нужно учитывать не только законы, но и сердца. А Иван, довольный, почесал затылок и пошел домой. Его ждала Марья и новая забота: соседский мальчишка притащил птенца, выпавшего из гнезда, и не знал, что с ним делать.

Жизнь продолжалась. Не идеальная, не сказочно-счастливая, но человеческая. А Иван-дурак так и оставался ее тихим, непонятным и самым нужным стержнем – тем, кто помнил, что за любым делом, спором или великой целью стоит простая, хрупкая, живая душа. И что иногда, чтобы быть по-настоящему умным, нужно на время согласиться быть дураком.

Глава 5.

Иван-дурак и тихий голос.

После случая с Камнем Споров слава о мудрости Ивана дурака стала двусмысленной. Одни почитали его чуть ли не святым, другие – ворчали, что он внес смуту в умы и отнял у людей простую радость быть уверенным в своей правоте. Сам же Иван жил себе помаленьку. Детей у них с Марьей не было, но их изба стала прибежищем для всякой живности: с подбитым крылом сова жила, хромая лисица с доверчивыми глазами, а на печке, конечно, старый кот, который, как поговаривали, был ровесником самого леса.

Шло время. Данила и Гаврила, братья-цари, состарились, поседели. Управляли они по-прежнему «по уму»: законы издавали, границы укрепляли, казну пополняли. Царство было крепким, сытым, но… каким-то безголосым. Люди стали больше молчать. Не от страха, а от какого-то внутреннего утомления. Песни пели реже, сказки сказывать разучились. Даже смех на праздниках стал казенным, обязательным. Казалось, из мира потихоньку уходит вдохновение. Мастера делали вещи крепкие, добротные, но без души. Художники писали портреты точные, как зеркало, но в них не было жизни. Поэты сочиняли вирши, правильные по размеру, но пустые по смыслу.

Царство погружалось в тихую, благополучную спячку. И эта спячка пугала умных правителей больше любой войны или мора.

И вот однажды к Ивану, который к тому времени был уже немолодым, но таким же ясноглазым, пришел странный гость. Не посол, не крестьянин, а Скоморох. Но не веселый, в ярких лоскутьях, а старый, в потертом, выцветшем наряде, и гусли у него были не звонкие, а приглушенные, будто струны из паутины.

«Здравствуй, Иван-дурак, – сказал Скоморох, и голос у него был сиплый, уставший. – Слышал я, ты немудреным советом помогаешь. Помоги и мне. Со мной беда приключилась: потерял я смех. Не свой, нет. А тот самый, что в воздухе витает, что людей за животы хватает, что из души рвется, как родник. Он исчез. И с ним ушла легкость, озорство, та самая искра, от которой и песня рождается, и пляска, и самая верная мысль в голову приходит. Без этого смеха мир становится… правильным. И мертвым».

Иван долго смотрел на Скомороха, потом вышел из избы, посмотрел на лес, на небо, прислушался. Вернулся и сказал:

«Ты прав.Лес молчит не по-зимнему. Птицы поют по нотам, а не от радости. Ветер не свистит, а гудит, как в трубе. Легкость пропала. Ее кто-то… придавил».

«А кто?» – спросил Скоморох.

«Не кто.Что, – ответил Иван. – Искать надо не в подземельях, а в чердаках. Не в чужих краях, а в наших собственных головах. Это не Кощей похитил. Это мы сами, по кирпичику, сложили себе Тюрьму Серьезности».

Собрался Иван в путь. Не в дальний, а в столицу. Марья, уже седая, но все такая же ладная, сплела ему новую котомку. «Смотри, не задерживайся, – сказала она. – А то без тебя и печь хуже топится». Это была их самая нежная шутка.

Пришел Иван в столицу. Величественная, чистая, тихая. Люди ходили по своим делам чинно, говорили негромко. Даже дети играли в какую-то странную, упорядоченную игру без визга и беготни. Иван пошел прямиком во дворец.

Братья, Данила и Гаврила, сидели в палате за грудами свитков. Лица у них были изможденные, усталые от важных дум.

«Иван!– обрадовались они, увидев брата. – Как раз кстати. Помоги решить: вводить ли новый налог на черепицу или повысить пошлину на соль? Голова кругом!»

Иван сел на ступеньку у трона, достал из котомки сухарь, стал грызть.

«Братья,– сказал он. – А когда вы в последний раз смеялись? Не ухмылялись, а смеялись так, чтобы животы схватывало?»

Братья переглянулись, смутились.

«Какое сейчас время для смеха?– строго сказал Данила. – Царство – дело серьезное».

«Вот и оно,– кивнул Иван. – Вы своей серьезностью всю страну, как одеялом тяжелым, накрыли. Дышать нечем. Легкость под одеялом спит, задыхается».

«Что за вздор! – возмутился Гаврила. – Порядок, закон, благоденствие – разве это не главное?»

«Главное-то оно главное,– согласился Иван. – Но дом, в котором никогда не смеются, – не дом, а казарма. А в казарме душа чахнет. Вы потеряли не смех, вы потеряли долю. Ту самую, бездельную, глупую, что от всех дел спасает».

Цари не поняли. Но Иван не стал спорить. Он вышел на площадь и сел у фонтана. Просто сидел. Целый день. Мимо ходили люди, поглядывали на знаменитого Дурака. К вечеру вокруг собралась толпа детворы. Они смотрели на него с любопытством.

«Дедушка, а что ты делаешь?» – спросила одна смелая девчонка.

«Жду,– сказал Иван.

«Чего?»

«Пока кто-нибудь не сделает что-нибудь совсем глупое».

Дети замерли в недоумении. А потом один мальчишка, самый мелкий и рыжий, не выдержал. Он подбежал к фонтану, зачерпнул ладонью воду и брызнул на соседку. Та взвизгнула не от злости, а от неожиданности, и тут же ответила ему. Через мгновение началась самая настоящая, беспричинная, веселая возня у фонтана. Дети смеялись, визжали, промокли до нитки. И этот звук – чистый, неудержимый детский смех – прозвучал в тихой площади, как раскат грома.

И тут случилось нечто. От этого смеха, будто от лучей солнца, по каменным плитам площади поползли тонкие, почти невидимые трещинки. Не разрушающие, а живые. И из этих трещинок стал подниматься едва уловимый, легкий пар – парадокс, сама суть легкости и вдохновения. Он поднимался к небу, смешивался с воздухом.

Люди на площади сначала опешили, потом невольно начали улыбаться, глядя на детей. Кто-то тихонько рассмеялся. Кто-то вспомнил старую шутку. И по мере того, как смех и улыбки распространялись по городу, мир будто просыпался. Мастер в своей лавке вдруг свистнул, взяв в руки инструмент. Художник отложил кисть, сделал на полях эскиза смешной, озорной рисунок.

Иван встал, отряхнулся. Его работа была сделана. Он не нашел похищенную легкость – он просто напомнил людям, где она живет. В способности быть иногда глупыми, без причины радостными, в умении отложить на миг всю серьезность мира.

Скоморох, стоявший в толпе, взял в руки свои гусли. И струны зазвенели по-новому – ярко, дерзко, живо. Он запел острую, веселую балладу, и народ хохотал до слез.

Вернулся Иван домой. Марья встретила его у калитки.

«Ну что, старый дурак, спас царство от серьезности?» – улыбнулась она.

«Не спас,– ответил Иван, заходя в избу, где кот мурлыкал на печи, а сова важно моргала с полки. – Проще было с Кощеем воевать. Серьезность – она внутри сидит, как репейник. Выдернешь сегодня – завтра вырастет. Но хоть напомнил, что ее нужно периодически полоть. А то зарастет душа бурьяном важности, и света в ней не останется».

И сели они ужинать при свече, и свет тот был не яркий, а теплый, и в нем танцевали смешные тени, и было очень хорошо. Потому что жили они не в идеальной сказке, а в простой, настоящей жизни, где есть место и серьезному делу, и глупой, ничем не обусловленной радости. А это, как знал Иван-дурак, и есть самое главное чудо.

Глава 6.

Иван-дурак и последнее дело.

Шли годы, текли, как тихая река. Иван и Марья состарились вместе. Седые, морщинистые, но глаза у них оставались ясными: у Марьи – ласковыми и умными, у Ивана – все такими же глубокими и внимательными, будто видевшими чуть дальше и чуть глубже, чем положено.

Братья-цари, Данила и Гаврила, один за другим отошли в мир иной, оставив трон сыну Данилы, молодому царю Елисею. Тот был парень хороший, воспитанный на старых сказках про дядю-дурака, но править пытался по-новому, с наукой да с заморскими советниками. Мир менялся. В городах появились первые часы с курантами, отмеряющие время ровными, железными промежутками. Люди стали больше говорить о пользе, прогрессе и выгоде. И все реже – о чудесах.

Но чудеса, как знал Иван, никуда не девались. Они просто стали тише. И ушли туда, где их не побеспокоят: в глухие леса, на дно глубоких озер, в шепот очень старых деревьев. Да и сам Иван чувствовал, как его земной путь подходит к концу. Не болезнь, нет. Просто тихое, естественное угасание, как угасает день перед вечерней зарей. Он знал это по тому, как лесные звери приходили прощаться: лиса тихо посидела у калитки и ушла, волк, уже совсем седой, выл на луну под их окном, а филин, которого Иван когда-то выходил, теперь часами сидел на коньке крыши, не шелохнувшись.

И вот однажды, когда осенний воздух был прозрачным и холодным, как лед, а листья падали медленно и торжественно, к избе Ивана пришла Сама Смерть. Но пришла она не в виде костлявой старухи с косой, а в образе молодой женщины в простом сером платье, с лицом спокойным и немного печальным. Вошла она в избу, где Марья дремлет у прялки, а Иван смотрит в потухающую печь.

«Здравствуй, Иван, – сказала она тихо. – Пришла пора».

Иван медленно повернул голову,посмотрел на нее и кивнул.

«Знаю,– сказал он так же тихо. – Подожди только малость. Мне надо последнее дело сделать».

«Какое дело?– удивилась Смерть. – Ты уже все сделал. И радость вернул, и воду оживил, и споры утихомирил, и легкость напомнил. Ты устал. Пора отдохнуть».

«Дело не в подвигах,– ответил Иван. – Дело в… передаче. Мир стал другим. Умным, быстрым, звонким. Он скоро забудет про нас, стариков. Забудет про тихие голоса. Мне надо найти, кому это передать».

«Что "это"?» – спросила Смерть.

«Умение слышать мир»,– сказал Иван просто.

Он встал, с трудом, опираясь на палку, взял свою старую, потрепанную котомку. Огляделся на избу, на спящую Марью, на кота, прикрыл ему глаза ладонью – старый друг тут же тихо угас, без страха и боли. Потом взглянул на Смерть.

«Пойдем».

Они вышли. И пошли не по дороге, а напрямик – сквозь лес, сквозь поля, сквозь сны спящих деревень. Смерть шла рядом, и тропа перед ними расступалась, а время текло странно: то сжимаясь, то растягиваясь.

Они пришли в столицу, в новый, белокаменный дворец царя Елисея. Прошли сквозь стены, как сквозь туман, и очутились в покоях, где молодой царь спал беспокойным сном, обложенный толстыми книгами и чертежами. Иван посмотрел на него, покачал головой.

«Нет. Ум хороший, сердце незлое. Но слишком много шума в голове. Он не расслышит».

Они пошли дальше. Заходили в дома к мудрецам, к художникам, к самым добрым лекарям. Везде Иван находил хороших, умных, талантливых людей. Но у всех в душе было слишком много своего: знаний, амбиций, страхов, планов. Не было тихого, пустого места, куда мог бы войти голос шуршащей листвы или стона старого камня.

Утро застало их на пустынном берегу озера. Иван сидел на коряге, смотря на воду. Он выглядел очень усталым, почти прозрачным.

«Никого не нашел,– сказала Смерть, и в ее голосе впервые прозвучала жалость. – Может, и не надо? Мир сам выберет свой путь».

«Мир выберет. Но он может выбрать путь глухоты. А тогда рано или поздно он сломается, – ответил Иван. – Потому что нельзя строить дом, не слыша, как стонут балки».

И тут его взгляд упал на воду. На самой кромке, среди мокрых камней, сидела девочка. Лет семи. Босая, в простом платьице, она не играла, а просто сидела, уставившись в воду. И что-то шептала. А потом приложила ухо к гладкому камню, будто слушая его ответ.

Иван замер. Он поднял руку, жестом велел Смерти остаться, и медленно подошел к девочке.

«Что ты слушаешь, дитятко?» – спросил он.

Девочка вздрогнула, посмотрела на него большими, серыми, не по-детски серьезными глазами.

«Камень рассказывает, как ему одиноко лежать здесь тысячи лет. А вода ему в ответ журчит сказки про рыбок и корабли. Я их запоминаю. Потом маме расскажу».

«А мама верит?»

Девочка печально покачала головой.

«Говорит, что я выдумываю. Что надо заниматься полезным».

Иван сел рядом с ней, с трудом, кости похрустывали.

«А как тебя зовут?»

«Аленкой».

«Аленушка,– сказал Иван мягко. – А ты слышишь, о чем плачет вот тот согнутый тростник?»

Девочка прислушалась, нахмурив лоб. Потом тихо сказала:

«Он плачет, потому что ветер сегодня злой и рвет его, а вчерашний был ласковый. Он скучает по вчерашнему ветру».

В глазах Ивана вспыхнул тот самый свет, который был в них всегда, когда он видел чудо.

«Вот и он»,– прошептал он, обращаясь к невидимой Смерти. Потом посмотрел на девочку. «Аленушка, хочешь, я научу тебя, как разговаривать с ветром? И как понимать, о чем думает огонь в печи? И как отличить просто шум от настоящего голоса?»

Девочка широко раскрыла глаза и кивнула, не в силах вымолвить слова.

Иван провел с ней на берегу весь день. Не как учитель с ученицей, а как старый дед с внучкой. Он не давал заклинаний, не открывал тайных знаний. Он просто учил ее внимать. Тишине между звуками. Смыслу между словами. Свету в самой густой тени. Он отдавал ей свое умение – не как груз, а как дар, легкий, как пушинка.

К вечеру, когда солнце садилось в багровую воду, Иван закончил. Он был теперь почти невесом, как призрак.

«Запомни, Аленушка, – сказал он последнее. – Будут звать тебя дурочкой. Говорить, что ты не от мира сего. Не спорь. Иногда соглашайся. Потому что этот мир, с его шумом и спешкой, иногда слишком глуп, чтобы понять собственную мудрость. А ты просто слушай. И когда услышишь, что мир плачет или радуется, – расскажи об этом. Кому-нибудь, кто сможет услышать. Ладно?»

Аленушка кивнула, и по ее щеке скатилась слеза.

Иван улыбнулся ей,самой доброй своей улыбкой. Потом обернулся, взял под руку подошедшую Смерть в сером платье.

«Ну, что ж, – сказал он. – Теперь пора. Всё в порядке».

И они пошли вдоль берега, навстречу закату. Две фигуры – старая, согбенная, и молодая, прямая – медленно растворялись в золотом тумане вечернего света, пока не стали его частью.

А Аленушка долго сидела на берегу. Потом встала и пошла домой. Она знала, что никому не расскажет про сегодняшнего странного деда. Но теперь она знала наверняка, что камни действительно рассказывают сказки, а тростник скучает по ласковому ветру. И этого было достаточно.

А в далекой избе на опушке, Марья проснулась от странного чувства покоя. Взглянула на пустую лавку, где всегда сидел Иван, на потухшую печь, на кота, мирно уснувшего вечным сном у ее ног. Она тихо вздохнула, не со скорбью, а с легкой, светлой грустью.

«Ну, что ж, дурак мой, – прошептала она. – Домой ушел».

И мир жил дальше. Шумный, быстрый, умный. Но где-то в его глубине, как чистая родниковая жилка, текла тихая память об Иване-дураке. И жила маленькая Аленушка, которая умела слышать, как растет трава. И это означало, что сказка не кончилась. Она просто стала тише. И мудрее.

Глава 7.

Аленушка, которая слышала.

С того дня на берегу Аленушка изменилась. Она не стала волшебницей в прямом смысле – не могла заклинаниями горы двигать. Но мир для нее заговорил в полный голос. И это было одновременно благословением и тяжким грузом.

Она слышала, как стонет старая яблоня в саду от червоточины, и не могла не принести ей глины, чтобы замазать раны. Слышала, как ревут от обиды дрова, брошенные в печь, и пыталась шептать им утешения, пока мать качала головой: «И чего ты с поленьями разговариваешь, чудит девка?» Она слышала, как плачет ветер, запертый в тесном переулке между домами, и как радуется первый весенний дождь, ударяя по крыше.

Ее, конечно, прозвали Аленкой-Безумушкой. Сверстники смеялись, взрослые вздыхали. «Вот и дочка лесной ведьмы», – шептались соседки, хотя мать Аленки была самой обычной и доброй женщиной, просто уставшей от странностей дочери.

Но Аленушка помнила слова седого деда с озера. Она не спорила. Она просто знала. И в тишине своего сердца вела долгие беседы с миром.

Шли годы. Она выросла в тонкую, стройную девушку с теми же большими серыми глазами, в которых читалась глубокая, не по годам, внимательная тишина. Мать, мечтавшая о хорошей партии для дочери, отчаивалась: «Кто тебя, глупую, такую возьмет? Ты и прясть-то хорошо не научилась, все к окну прислушиваешься, будто там не ветер, а голоса!»

Но однажды в их края пришла беда. Не громкая, не внезапная, а тихая и коварная. Начал забываться сон. Люди ложились спать уставшие, но сон не приносил отдыха. Он стал поверхностным, тревожным, пустым. А то и вовсе не приходил. Люди бродили поутру как тени, зевали, раздражались, тупели на глазах. Силы покидали самых крепких работников, мудрость – самых опытных старейшин. Царство погрузилось в серую, изматывающую бессонницу.

Царь Елисей, уже не молодой, созывал лекарей и звездочетов. Те прописывали снотворные зелья, считали звезды, шептали заговоры – все было тщетно. Сон, как птица, улетел, и никто не знал куда.

Аленушке, конечно, спалось прекрасно. Она засыпала под шепот дома и просыпалась от щебетания первых птиц, отдохнувшая и светлая. И однажды ночью ее разбудил не звук, а тишина. Та самая, неестественная, гнетущая тишина, о которой говорил старый дед. Она выглянула в окно. И увидела, как по улице, между спящих (вернее, просто лежащих с открытыми глазами) домов, бредут странные, полупрозрачные тени. Они были похожи на клочья тумана, но в форме людей, и тянули за собой саваны, сотканные не из материи, а из забытых сновидений. Это были Сонные Похитители – порождения все той же Серьезности и Суеты,

которые выросли до такой степени, что начали пожирать последнее пристанище души – ее ночные странствия.

Аленушка не испугалась. Она вышла во двор в одной рубахе, босая. Один из Похитителей медленно поплыл в ее сторону, протягивая холодные, бестелесные руки.

«Чего ты хочешь?»– тихо спросила Аленушка.

В ответ она не услышала слов,но поняла. Они хотели тишины. Абсолютной. Они ненавидели шумные, яркие, эмоциональные сны. Они хотели, чтобы ночь была такой же пустой и деловой, как и день. Чтобы душа никогда не отдыхала и не творила в своих тайных мирах.

«Не отдам, – сказала Аленушка. – Вы не имеете права».

Похититель зашипел и ринулся на нее.Но Аленушка не отступила. Она вспомнила уроки деда. Она не стала бороться с тенью. Она начала… рассказывать. Голосом, каким говорила с камнями и деревьями, она начала нашептывать самую простую, детскую, теплую сказку. Про доброго медвежонка, про теплую печку, про звезду-подружку. Она вплетала в рассказ звуки: уютное потрескивание поленьев, тихий напев колыбельной, шуршание одеяла.

И случилось чудо. Из ее слов, будто из пряжи, начал ткаться слабый, но настоящий сон. Не сон для себя, а сон как явление. Он вился вокруг нее теплым, цветным туманом. Похититель, столкнувшись с этой живой, творящей силой, отпрянул. Ему, пожирателю пустоты, было нечем ответить на это созидание.

Аленушка пошла по деревне, от дома к дому, как когда-то Иван шел по площади. Она шла и рассказывала. Рассказывала сны. Она останавливалась у окна и шептала истощенному, ворочающемуся хозяину историю про летающий корабль или про сад из леденцов. И тот, к удивлению своему, вдруг погружался в короткий, но глубокий и целительный сон.

Весть о «Безумушке, что сны дарит» разнеслась мгновенно. К ее дому потянулись люди. Она выходила на крыльцо, садилась и просто говорила. Говорила тихо, без пафоса. Она не сочиняла сложных сюжетов – она давала голос тому, что уже было вокруг: шелесту листьев, скрипу качелей, запаху свежего хлеба, превращая это в образы покоя и безопасности.

Сонные Похитители отступили от ее деревни. Они не могли вынести этой тихой, упорной творческой силы.

Но Аленушка понимала, что это – лишь временная мера. Она не может обойти все царство. Нужно было найти источник проблемы. И она вспомнила, как дед говорил о «Тюрьме Серьезности». Она пошла туда, где эта тюрьма была самой прочной – в столицу, к царю Елисею.

Ее, конечно, не пустили во дворец сразу. Но слава о ней бежала впереди. Когда царь, изможденный неделями без сна, услышал, что пришла «та самая девка, что сны лечит», он велел впустить.

Она стояла в богатом кабинете перед усталым, постаревшим монархом.

«Говорят, ты можешь вернуть сон. Сделай это. Я щедро заплачу», – сказал Елисей.

«Я не могу его «вернуть», ваше величество, – тихо ответила Аленушка. – Его нельзя взять и положить обратно, как монету. Его нужно… пригласить. А он не придет туда, где ему не рады. Где каждую минуту считают, где каждое действие должно быть полезным. Даже во сне от вас требуют решений и отчетов».

Царь нахмурился. «Ты говоришь как тот… мой прадед, Иван-дурак. Такими же загадками».

«Может,и говорю, – впервые улыбнулась Аленушка. – Он меня учил. А учил он меня одному: чтобы услышать мир, нужно сначала замолчать самому. Чтобы видеть сны, нужно позволить душе быть праздной и безумной. Хоть на время».

Она попросила у царя одну ночь. Одну ночь, когда в столице не будут бить куранты, не будут ходить ночные дозоры с громкими шагами, когда люди не будут пытаться заснуть «по приказу». Ночь тишины и темноты, без фонарей и дежурных огней.

Елисей, отчаявшись, согласился.

И вот наступила эта непривычно тихая ночь. Аленушка вышла на самую высокую башню. Она не произносила заклинаний. Она просто начала слушать. Слушать огромный, спящий город. И слышать не суету, а его усталость, его забытые мечты, его детские воспоминания. А потом она начала напевать. Не песню даже, а мелодию без слов, сотканную из всех этих услышанных ею тихих голосов. Это была колыбельная для целого города.

И сон, дикий, свободный, творческий, начал возвращаться. Он струился с башни, как невидимый туман, проникая в окна, убаюкивая измученные умы. Люди спали. И видели сны – странные, яркие, целительные.

На рассвете Аленушка спустилась с башни. Царь Елисей встретил ее у ворот. Он выглядел отдохнувшим, а в глазах его стояло изумление.

«Я видел сон…– сказал он. – Просто сон. Не про государство. Про то, как в детстве запускал кораблики в ручье. Я и забыл уже…»

«Вот и всё, что нужно, – сказала Аленушка. – Не забывать. Хотя бы во сне».

Елисей посмотрел на эту простую девушку, в которой горела искра того же странного света, что и в его легендарном прадеде.

«Останься здесь. Будь советницей. Научи нас… не забывать».

Но Аленушка покачала головой.

«Мое место не во дворце. Мое место – там, где мир громко молчит и его нужно услышать. Как у деда Ивана – на опушке. Только, может, свою опушку найду».

Она ушла из столицы, не взяв награды. Она шла по дороге домой, и люди, узнавая ее, кланялись ей не как знахарке или святой, а с тем же чувством, с каким когда-то вспоминали Ивана-дурака – со смесью недоумения, уважения и тихой надежды. Потому что знали: пока жива Аленка, которая слышит, в мире есть кому внимать шепоту трав и стонам камней. И значит, у мира еще есть голос. И есть кому его услышать. А это, как оказалось, и есть самое главное.

Сказка не кончается. Она только переходит в новую главу, написанную более тихими чернилами.

Глава 8.

Аленушка и Болото Воспоминаний.

Аленушка вернулась в родную деревню, но поняла, что остаться здесь не сможет. Ее дар, разбуженный Иваном-дураком, требовал простора, тишины и уединения. Как и ее великий учитель, она чувствовала, что ее место – на границе миров: человеческого и того, что лежит за гранью обычного слуха.

Она попрощалась с матерью – не со слезами, а с глубоким, молчаливым пониманием. Взяв котомку, старую, ту самую, что Иван оставил в сознании людей как символ, да горсть родной земли, она ушла в лес. Не просто в чащобу, а туда, куда ее вели тихие голоса – туда, где старый дуб, помнивший еще времена молодости самого Ивана, шептал ей о заброшенной избушке на краю Болота Воспоминаний.

Избушка оказалась не на курьих ножках, а на крепких, вросших в топь корнях древней ольхи. Полуразвалившаяся, заросшая мхом, она все же хранила следы жилья: грубый очаг, нары из душистого сена, закопченный чайник. Место это было особенное. Болото Воспоминаний не было зловещим. Оно было… грустным. В его тихих, черных водах и вязкой почве покоились не кости, а утраченные, никому не нужные воспоминания: детские страхи, забытые имена первой любви, обрывки песен, которым не научили внуков, мимолетные сны, не расска-

занные наутро. Они тихо перешептывались в камышах, пузырились в трясине, мерцали бледным огоньком болотных огней.

Аленушка поселилась здесь. Не как отшельница, а как хранительница. Она стала слушать шепот болота. Не для того, чтобы вытащить воспоминания на свет – некоторые вещи должны оставаться в покое. А для того, чтобы упорядочить этот тихий хаос. Она разговаривала с потерянными страхами, убаюкивая их, как детей. Напевала обрывки забытых песен, давая им хоть на миг обрести цельность. Она стала мостом между миром живых, который слишком торопится, чтобы помнить, и этим тихим архивом утраченного.

Иногда к ее избушке, преодолевая робость и суеверный страх, приходили люди. Не за сном теперь, а за памятью. Приходил старый воин, который забыл лицо своего погибшего друга, помнил только чувство вины. Аленушка вывела его на край болота, туда, где росли черные гвоздики. Вместе они молча слушали ветер, и через какое-то время старик, не слыша слов, вдруг увидел – не лицо, а улыбку того друга, их общую шутку. И вина, не исчезнув, потеплела, стала светлой печалью.

Приходила молодая мать, потерявшая ребенка при родах. Она не могла оплакать то, чего даже не знала. Аленушка не давала ей ложных утешений. Она просто позволила болоту спеть ей колыбельную – ту, что сложилась из тысячи неспетых колыбельных других таких же матерей, чьи слезы стали водой этого болота. И женщина, наконец, смогла выплакать свою тихую, личную боль, не чувствуя себя одинокой в своем горе.

Но однажды в Болото Воспоминаний пришла беда иного рода. Пришел не человек, а нечто холодное и цепкое – Сухое Забвение. Оно не пожирало воспоминания, как Тень раньше. Оно обесцвечивало их. Высасывало из них эмоции, тепло, боль и радость, оставляя лишь сухие, безжизненные факты. «Река была широкой», вместо «река сияла в лучах заката, когда он впервые поцеловал ее». «Был дом», вместо «в доме пахло яблоками и счастьем». Это Забвение шло из самого царства, из новых веяний, где все стремились к рациональности, где чувства считались слабостью, а память должна была служить только практической пользе.

Болото начало болеть. Воды его стали мутными и беззвучными. Камыши поникли. Огоньки погасли. Потерянные воспоминания, лишенные своего эмоционального сердца, начинали рассыпаться в пыль. И с этим исчезновением что-то тонкое, но важное начинало рваться в мире живых: связь поколений слабела, сострадание тускнело, искусство становилось ремеслом.

Аленушка почувствовала это первой. Холодная, серая пустота подступала к порогу ее избушки. Она вышла навстречу. Перед ней стояла фигура в бесцветном плаще, без лица, без глаз – просто олицетворение равнодушного, сухого архива.

«Ты мешаешь прогрессу, – прозвучал безличный, металлический голос. – Эти сантименты бесполезны. Миру нужны факты, данные, логика. Отдай это болото. Пусть оно станет… библиотекой. Упорядоченной. Без этой грязи чувств».

«Без этой «грязи» нет жизни, – тихо ответила Аленушка. – Воспоминание без чувства – все равно что цветок без запаха, звезда без света. Это уже не память, это – отчет».

Она понимала, что против Сухого Забвения не споть колыбельную. Его нельзя утешить. Его можно только… оживить. Рискуя собой, Аленушка сделала невероятное. Она не стала защищать болото. Она шагнула в самую его сердцевину, в холодную, обесцвечивающую трясину. И там, погружаясь по грудь в ледяную муть, она начала вспоминать вслух.

Но вспоминать не свои воспоминания. Она стала голосом самого болота. Она произносила не факты, а чувства. Закрывая глаза, она выкрикивала в наступающую пустоту:

«ЗДЕСЬ БЫЛА ЛЮБОВЬ! ЖГУЧАЯ И НЕЖНАЯ!»

«ЗДЕСЬ БЫЛ СТРАХ, ТЕМНЫЙ И ЛИПКИЙ, НО ЕГО ПЕРЕЖИЛИ!»

«ЗДЕСЬ БЫЛА РАДОСТЬ, ЯРКАЯ, КАК ВСПЫШКА СОЛНЦА!»

«ЗДЕСЬ ПЛАКАЛИ ОТ ТОСКИ, И СЛЕЗЫ ЭТИ БЫЛИ СОЛЕНЫМИ И НАСТОЯЩИМИ!»

Каждое ее слово, насыщенное прожитой, чужой, но настоящей эмоцией, било как молот по хрустальной скорлупе Сухого Забвения. Оно не могло переварить эту сырую, неудобную правду чувств. Бесцветный плащ начал трещать, на нем появлялись трещины, и из этих трещин бил наружу подавленный, загнанный вглубь свет – свет тысячи забытых переживаний.

Болото ответило ей. Из глубин поднялся рой болотных огоньков, но теперь они были не бледными, а яркими, цветными: алыми от страсти, золотыми от радости, синими от печали. Они окружили фигуру Забвения, танцуя вокруг него, обжигая его равнодушие своей эмоциональной правдой.

Сухое Забвение не было уничтожено. Оно было преображено. Его бесцветный плащ упал, рассыпался, а на его месте остался… тихий, строгий, но понимающий Архивариус. Он все так же собирал воспоминания, но теперь собирал их целиком – и факт, и чувство. Он стал не врагом, а союзником, упорядочивающим, но не умерщвляющим прошлое.

Аленушка, обессиленная, выбралась из трясины. Она была покрыта илом, дрожала от холода, но в глазах у нее горела победа – не над чем-то, а ради чего-то.

С тех пор Болото Воспоминаний изменилось. Оно не стало менее меланхоличным, но в его водах появились переливы цвета. Аленушка, теперь уже не просто хранительница, а Сердце Болота, продолжила свою тихую работу. Она знала, что мир снаружи все больше погружается в шум и скорость. Но она также знала, что пока есть место, куда можно принести свое утраченное чувство, пока есть кто-то, кто услышит шепот забытой боли или радости – душа мира не очерствеет окончательно.

А в столице, в самой большой библиотеке, появился новый, скромный отдел. Его называли «Отделом Сути». Туда приносили не только хроники и указы, но и дневники, письма, детские рисунки – все, что хранило в себе чувство эпохи. И главным советником по этим делам царь Елисей назначил заочно ту самую Аленку-Безумушку, чьего портрета не было, но о чьем существовании знал каждый, кому было что вспомнить.

И где-то далеко, в мире, куда ушли Иван-дурак и его Марья, старик, глядя в тихое, вечное озеро, улыбнулся. Его дело было в надежных руках. И не просто в руках – в чутком сердце, способном слышать даже беззвучный плач и безликую радость прошлого. Сказка жила. Теперь – в новом обличье.

Глава 9.

Аленушка и Зерно Будущего.

Шли годы, текучие и неспешные, как воды Болота Воспоминаний. Аленушка из девушки превратилась в женщину, затем в старицу с серебряными волосами, заплетенными в одну простую косу. Ее лицо покрыли морщины, но глаза – те самые большие, серые глаза – не потускнели. Они видели так же глубоко, только взгляд стал еще спокойнее, еще терпеливее.

Ее избушка на краю болота стала местом легендарным и… почти недоступным. Путь к ней теперь знали лишь те, кого сама Аленушка звала, или те, чья нужда была настолько велика и чиста, что тропинка к ней расступалась в чаще сама собой. Она стала больше похожа на дух места, чем на человека. Но она была жива. И она продолжала слушать.

Однажды глубокой осенью, когда листья падали в черную воду беззвучно, а воздух был прозрачным и острым, к болоту пришел человек. Вернее, это был уже не совсем человек, а его тень – слабый, дрожащий отблеск. Это был старый Ученый, последний из великих умов царя Елисея. Он не искал утраченного чувства. Он искал ответ на вопрос, который съедал его изнутри: что дальше?

Царство, несмотря на все порядки и прогресс, зашло в тупик. Урожаи больше не росли, как ни удобряли землю. Новые изобретения рождались тусклыми, без искры. Дети рождались

тихими, слишком тихими, их глаза были полны знаний, но в них не горело любопытства. Казалось, само будущее перестало рождаться. Оно застряло в вечном, унылом «сегодня».

Тень Ученого, такая легкая, что камыш не гнулся под ее шагом, предстала перед избушкой.

«Хранительница,– прошептал он голосом, похожим на шелест пергамента. – Мир остановился. Мы знаем все, что было. Мы упорядочили все, что есть. Но что будет? Откуда берется завтра?»

Аленушка вышла к нему, завернутая в простой плащ. Она долго смотрела на его прозрачную, бесплотную форму.

«Вы ищете будущее в прошлом,– сказала она наконец. – Как росток ищете в пепле. Его тут нет. Будущее не в воспоминаниях. Оно в семенах, которые еще не упали в землю».

«Каких семенах?» – отчаялся Ученый.

«Семенах выбора. Семенах мечты. Семенах «а что, если…». Вы все так хорошо научились хранить и использовать, что разучились бросать».

«Бросать что?»

«Бросать в почву времени зерно невыгодной,безумной, ничем не подкрепленной надежды, – сказала Аленушка. – Вы боитесь ошибиться. А будущее рождается только из ошибок и дерзких догадок, у которых нет доказательств. Ваше царство стало слишком… взрослым. Оно забыло, как быть глупым и смелым».

Она повернулась и пошла вглубь болота, в самое его сердце, куда даже светлые воспоминания боялись заглядывать. Тень Ученого поплыла за ней. Они пришли к месту, где вода была не черной, а пустой – такой прозрачной и бездонной, что в ней отражалось не небо, а какая-то иная, серая пустота. Это была Заброшенная Завязь – место, куда падали и гибли, не успев прорасти, все невысказанные идеи, похороненные мечты, отвергнутые «глупые» вопросы.

«Вот оно, ваше не-будущее, – сказала Аленушка, указывая на мертвую гладь. – Здесь лежат семена, которые вы побоялись посеять. «А что, если летать, как птица?» «А что, если говорить с луной?» «А что, если создать цветок, который поет?» Вы посчитали это детской чепухой. И засохли они здесь».

«Но это же и правда чепуха!» – воскликнул Ученый.

«Для ума— да, – согласилась Аленушка. – Но не для души. Не для того, что творит новое. Иван-дурак, мой учитель, разговаривал с волками. Это тоже была чепуха. Но из этой «чепухи» выросли спасенные царства».

Она опустилась на колени у самой кромки пустой воды, погрузила в нее руки. Не для того, чтобы что-то достать. Чтобы отдать. Она начала шептать. Но шептала она не воспоминания. Она шептала вопросы. Те самые, «глупые», детские, на которые нет ответа.

«А куда уходит эхо, когда перестает звучать?»

«О чем думает река, прежде чем свернуть в новое русло?»

«Можно ли сплести веревку из солнечного луча?»

И по мере того как ее тихие, безумные вопросы касались мертвой воды, в ней начинало что-то происходить. На поверхности, как пузырьки, начинали появляться крошечные, хрупкие, полупрозрачные образы: крыло невиданной бабочки, башня из радужного стекла, музыкальная фраза несуществующей мелодии. Это были не готовые идеи. Это были возможности. Зерна. Едва намеченные контуры того, что могло бы быть.

Тень Ученого смотрела на это, и ее прозрачная форма начала медленно наполняться не светом, а трепетом. Трепетом того самого забытого чувства – любопытства.

«И…что с ними делать?» – спросил он.

«Забрать,– сказала Аленушка. – Не все. Одно. То, что отзовется в тебе, как эхо твоего самого старого, самого стыдного «а что, если…». И отнести в мир. Не как проект. Не как

расчет. Как подарок. Как загадку. Бросить это зерно кому-нибудь – ребенку, поэту, пьяному мастеровому. И забыть. Не ждать урожая. Просто бросить».

Она аккуратно, как драгоценность, подняла с поверхности воды один пузырек-образ: это был схематичный рисунок механизма, который не приводился в движение силой, а… слушал тишину и двигался от ее изменения.

«Вот. Возьми. Это семя «механической внимательности». Бессмысленно. Бесполезно. Пока».

Тень Ученого протянула дрожащие, почти невидимые руки и приняла этот хрупкий дар. В тот же миг его форма стала чуть плотнее, в ней появился слабый, теплый отсвет.

«Я…я должен идти, – прошептал он. – Пока не забыл, как удивляться».

«Иди,– кивнула Аленушка. – И помни: будущее не строят по чертежам прошлого. Его сеют, как сумасшедшие садовники, не зная, что взойдет».

Тень удалилась, унося с собой зерно безумия. Аленушка осталась сидеть у Заброшенной Завязи. Она знала, что сделала важное дело – возможно, самое важное. Она не просто хранила прошлое. Она открыла шлюзы для будущего. Но плата была высокой. Каждое такое «посевание» отнимало у нее частичку ее собственной жизненной силы. Она чувствовала, как становится легче, прозрачнее, ближе к тому состоянию, в котором когда-то пришел к ней Иван-дурак.

Но она не жалела. Она смотрела, как на месте взятого пузырька на воде медленно, трудно, но начинает формироваться новый. Мир еще не исчерпал своих «глупых» вопросов. Значит, у него еще есть завтра.

А в царстве, через несколько месяцев, маленький сын каретника, которому старый, уже полузабытый всеми Ученый подарил странную игрушку-головоломку (тот самый «механизм внимательности»), вдруг, играя, изобрел новый способ крепления колеса – проще и надежнее любого известного. Это было маленькое, ничтожное открытие. Но оно пришло не из учебников. Оно пришло из игры. Из вопроса «а что, если?».

И где-то в глубине леса, на краю болота, Аленушка, сидя у огня, слабо улыбнулась. Первый росток проклюнулся. Будущее, хрупкое и непредсказуемое, снова начало пульсировать в мире. И в этой пульсации ей слышался тихий, одобрительный смех самого первого Дурака – того, кто знал, что все великое начинается с того, что умные люди называют глупостью.

Глава 10.

Аленушка и Последний Слушатель.

Время для Аленушки текло иначе. Она уже почти не отличала сон от яви, прошлое от возможного будущего. Ее избушка стала призрачной: стены иногда просвечивали, показывая лес, а крыша в ясные ночи была словно соткана из звездного света. Она не старела дальше – она растворялась, становясь частью Болота Воспоминаний, Заброшенной Завязи, шепота леса. Она была на пороге – того самого, за которым когда-то исчез Иван-дурак.

Но перед тем как окончательно уйти, ей предстояло выполнить последнюю обязанность Хранительницы. Не спасение царства, не борьба с бедой. Передача. Найти того, кто станет следующим Слушателем. Потому что цепь не должна была прерваться.

Она ждала знака. И знак пришел. Но не в виде просителя или чуда. Он пришел в виде тишины внутри тишины.

Однажды утром привычный гул болота – перешептывания, вздохи, пузырьки воспоминаний – смолк. Не наступила мертвая тишина Сухого Забвения. Наступила тишина ожидания. Болото, лес, даже ветер – все замерло, прислушиваясь. Аленушка вышла на крыльцо. Она поняла. Мир затаил дыхание, потому что где-то рождался новый, кто сможет его услышать.

Она закрыла глаза и отдалась потоку. Не памяти, а внимания мира. Она видела внутренним взором, как этот поток, словно река, ищет русло. Он проносился мимо ученых в башнях, мимо мудрых старцев, мимо талантливых художников – все они были слишком наполнены собой, своим знанием, своим мастерством. Поток искал пустоту. Чистый сосуд.

И он нашел его. В самой обычной деревне, на краю царства. Мальчик. Сирота. Его звали Прохор. Он был немым от рождения. Но не глухим. Он слышал все, абсолютно все, но у него не было слов, чтобы это выразить, и голоса, чтобы это озвучить. Его считали пустым, простаком, тихим местным дурачком. Он выполнял самую черную работу, молча, и его единственной отрадой было сидеть на берегу реки и смотреть, как течет вода. Он не просто смотрел. Он сливался с этим течением. Его молчание было не отсутствием, а совершенной, бездонной емкостью для звуков мира.

Аленушка открыла глаза. Она знала. Он – следующий.

Но как передать дар тому, кто не говорит? Как научить слушать того, кто и так слышит всё? Нужно было научить его не слышать, а понимать услышанное. И не бояться этого понимания.

Она не пошла к нему сама. Она послала зов. Не голосом, а намерением. И зов этот подхватили те, кто служил ей все эти годы: старая ворона, которую Аленушка когда-то выходила; болотный огонек, который она спасла от обесцвечивания; само шевеление мха на северной стороне деревьев.

Прохор, сидя у реки, вдруг почувствовал странное беспокойство. Ворона села ему на плечо и не каркала, а смотрела в глаза глубоким, умным взглядом. Болотный огонек, невозможный здесь, на реке, заплясал перед ним в воздухе. Мох на камнях зашевелился, указывая тропу в лес. Мир вокруг него, всегда такой ясный в своей звуковой картине, вдруг стал направленным. Он звал.

И Прохор, не раздумывая, пошел. Его вела сама ткань реальности. Он пришел к Болоту Воспоминаний, не испугавшись его меланхоличной мощи. Он увидел просвечивающую избушку и на крыльце – фигуру, больше похожую на сгусток тумана в форме женщины, чем на человека.

Аленушка смотрела на него. Она видела его тишину. И в этой тишине – целую вселенную невысказанных звуков.

«Ты слышишь, как плачет корень под камнем?» – спросила она не голосом, а прямо в его сознание.

Прохор вздрогнул и кивнул. Он не просто слышал. Он чувствовал эту боль, тупую и долгую.

«Ты слышишь, как радуется только что раскрытый бутон?»

Снова кивок. В его груди отозвалось слабое, сладкое щемление.

«Ты слышишь песню, которую река пела тысячу лет назад?»

Прохор закрыл глаза. И на его лице отразилось изумление – да, он слышал! Это был глухой, мощный гул, совсем не похожий на сегодняшнее журчание.

Аленушка улыбнулась. Ее улыбка была как луч света, пробивающийся сквозь туман.

«Хорошо. Теперь слушай самое сложное. Ты слышишь молчание между звездами? Ты слышишь вопрос, который еще не задан? Ты слышишь будущее, которое еще не выбрало, каким ему быть?»

Прохор замер. Его внутренний слух, всегда пассивный, устремился в указанном направлении. Он услышал… не звук. Напряжение. Как натянутую струну мироздания. Бесконечное множество возможностей, вибрирующих в тишине, ожидающих… выбора. Чьего-то выбора. Его дыхание перехватило. Это было страшно. И бесконечно прекрасно.

«Это и есть дар, – сказала Аленушка, и ее образ стал еще прозрачнее. – Не просто слышать то, что есть. Слышать то, что может быть. И твоя тишина – не недостаток. Это твой

инструмент. Ты – живая тихая заводь, в которой отражаются все голоса мира. Теперь ты должен научиться одно: отвечать».

«Как? – подумал Прохор, и мысль его была ясна, как колокольчик. – У меня нет голоса».

«Голос— не только звук, – ответила Аленушка. – Ответить можно действием. Можно приподнять камень, под которым плачет корень. Можно посадить цветок для бутона-одиночки. Можно бросить в реку особый камень, чтобы ее песня изменилась. А можно просто понять. И этим пониманием, как светом, осветить путь тому, кто заблудился в шуме. Ты будешь не рассказчиком, как Иван. Не утешителем, как я. Ты будешь… Настройщиком. Ты будешь возвращать миру гармонию, незаметно поправляя расстроенные струны бытия».

Она подняла руку, и из ее пальцев выпорхнули последние искры ее существа – не воспоминания, а чистые умения: как отличить боль роста от боли умирания, как услышать правду в лжи, как найти тихое место в самом громком споре. Эти искры вошли в Прохора, не обжигая, а наполняя теплом.

«Цепь продолжается, – прошептала Аленушка, и теперь ее уже почти не было видно. – Иди, Прохор. И помни: самый важный звук во вселенной – это тишина перед рождением нового мира. Услышь его. И помоги ему родиться».

На том месте, где она стояла, осталось лишь легкое сияние, которое медленно влилось в воды болота. Избушка окончательно растворилась, оставив после себя лишь особенно густой мох и несколько необычных цветов, которых раньше тут не водилось.

Прохор стоял один. Но он не чувствовал себя одиноким. Он был полон. Переполнен. Он слышал теперь не просто звуки, а смысл за ними. Он повернулся и пошел обратно, в мир людей. Он все так же не мог сказать ни слова. Но теперь, когда дерево скрипело от боли, он знал, как его подпереть. Когда ребенок плакал от непонятной тоски, он мог молча подарить ему камушек с реки, и тоска отпускала. Он стал тихим сердцем своего края, невидимым пастухом душ и природы.

А высоко-высоко, за пределами снов и воспоминаний, две тени наблюдали за этим: старик с добрыми глазами и женщина с лицом, полным тихой мудрости.

«Ну что, дурак мой, – сказала тень Марьи. – Твое семя дало хороший урожай».

Тень Ивана кивнула, довольная.

«И не такое еще даст. Пока есть кому слушать тишину… сказка будет жить. Только теперь ее будут рассказывать без слов».

И они удалились в вечность, оставив мир на попечение нового, молчаливого Дурака, чья мудрость была тише шепота листьев и глубже самых черных вод Болота Воспоминаний. История не кончилась. Она затаила дыхание, чтобы начаться снова. Совсем иной. И по-прежнему вечной.

Глава 11.

Прохор Настройщик и Расстроенный Город.

Прохор вернулся в свою деревню тем же тихим сиротой. Но изнутри он был другим. Тишина его стала не пустотой, а вместилищем. Он слышал теперь не просто отдельные звуки, а симфонию места. И если раньше он лишь пассивно впитывал диссонансы – стон больной лошади, ссору соседей за забором, сухой треск земли в засуху – то теперь он знал, что с этим делать. Вернее, его руки и ноги знали сами.

Он не думал, он действовал. Шел мимо хромающей собаки, поправлял камешек под ее лапой – и хромота утихала. Проходил мимо спорящих – незаметно сдвигал ведро, за которое они препирались, или ронял с крыши каплю воды на самого горячего спорщика. Тот замолкал,

озадаченный, и пыл ссоры угасал. Казалось, сама удача шла за немым парнем. Деревня, где он жил, постепенно становилась удивительно… ладным местом. Не богаче, не сытнее соседних, но в ней было меньше драк, скотина болела реже, а урожаи, даже в плохие годы, были чуть щедрее. Люди стали замечать: «Где Прохор пройдет – там легче дышится». Его прозвали Блажным или Тихим Ангелом, но уже без насмешки, а с суеверным уважением.

Но дар Прохора не был предназначен для одной деревни. Он чувствовал тягу, как стрелку компаса. Его внутренний слух улавливал мощный, гулкий диссонанс, доносящийся с севера. Оттуда, где стоял огромный город-порт Веретей. Город, который был гордостью царства Елисея. Центр торговли, ремесел, новой науки. И именно там что-то пошло не так.

Прохор собрал узелок и отправился в путь. Его не держало ничего – ни дом, ни семья. Только тихий долг Настройщика.

Веретей поразил его. Не размерами, а шумом. Но не обычным городским гулом. Это был хаотичный, рваный, болезненный шум. Прохор шел по улицам, и его внутренний слух раздирали тысячи мелких дисгармоний:

Скрип колес телег, которые были не смазаны от жадности извозчиков.

Грохот станков, установленных на кривых полах, отчего они визжали от напряжения.

Шепот людей, говорящих одно, а думающих совсем другое, создавая фальшивые, режущие слух обертоны.

Даже ветер гулял по улицам не плавно, а рывками, натыкаясь на нелепо построенные дома.

Город был богат, но расстроен. Как рояль, по клавишам которого били молотком. В нем копилось глухое раздражение, вспышки гнева были часты, дела буксули, корабли почему-то все чаще терпели крушение на ровном месте, выходя из, казалось бы, идеальной гавани.

Прохор устроился на самую простую работу – подметальщиком улиц и разнорабочим в порту. Это давало ему возможность быть везде и «слушать» город вблизи. Он быстро понял причину. Город Веретей был построен не для людей и не для жизни, а для эффективности и прибыли. Его планировку чертили, считая лишь квадраты земли и ширину дорог для телег. Дома строили быстро и дешево, не думая о том, как ветер будет гулять в переулках. Люди работали до изнеможения, заглушая внутренний голос усталости. Даже праздники здесь проводили «по регламенту» – шумно, дорого, но без искренней радости.

Городская душа – сложное, многослойное существо – болела. И болезнь эта проявлялась в тысяче мелких неполадок.

Прохор начал свою тихую работу. Он не мог перестроить дома или изменить законы. Но он мог настраивать малое.

Найдет он в порту груду ржавых якорей, сложенную так, что они воют на ветру тонким, сводящим с ума звуком. За полдня, втихаря, переложит их – и вой прекращается.

Увидит, как мальчишки-посыльные, срезая путь, вытаптывают единственный клочок травы у стены. Ночью принесет дикий плющ и посадит его так, что тропинка сама собой сместится, а стена покроется зеленью.

Услышит, как на рынке старуха-торговка истошно кричит, зазывая покупателей, от чего у всех вокруг болит голова. Он молча подойдет и аккуратно поправит полог над ее прилавком, который бил ей в глаза солнцем. Старуха, удивленно смолкнув, позже станет зазывать покупателей уже просто громко, без истерики.

Он не исправлял людей. Он исправлял контекст вокруг них. Убирал раздражающие мелочи, которые копили злость. Создавал неожиданные точки покоя: скамейку в удачном месте, куда падало солнце, ровную площадку для игры в кости, куда раньше была лужа.

Сначала его работу не замечали. Потом стали замечать странные «совпадения»: на улице, где подметал Прохор, внезапно находили общий язык давние враги-соседи; в таверне, где

он починил скрипучую дверь, драки прекращались; док в порту, где он неделю выравнивал скользкую брусчатку, вдруг стал самым быстро разгружаемым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.